

А в келье, наедине с дочерью, Марья всё никак не могла успокоиться прозорливостью старца, о которой давно было известно. И радостно вслух думала:

– Не зря в путь дальний, опасный собрались мы с тобой, доченька. Да и то помыслить надобно: разве бы взял отец Феодосий нас с собой, коли бы не было у него надежды?

На следующий день они сами напросились к повару-монаху на послушание. Разговорились, пока мыли котлы, и монах мимоходом молвил:

– Все кого-то ищут в Сибири. Я тако мыслю, оттого сие происходит, что страна здесь огромная, прямо как небеса земные, и человек росейский неопытный скоро затеряться может. Вот в позапрошлую зиму тут два друга жили, один русский, другой татарин. Русский-то тоже отца в Сибири искал.

– Постой-постой! Отца он как величал?

– Фёдором. Всех спрашивал, не ведомо ли кому, где находится...

– Ах! – готова была закричать Мария и закрыла рот рукой, – Миколка, Миколка то был! Так ли?

– Мама, Николай, а не Миколка! Уж недоросль давно, а ты его всё как отрока кличешь, – вмешалась Настенька. – Николай то, брат мой.

– Да, истинно, Николай, а другой татарин...

– Другой – Ахмед. Тоже точно так.

– Где они, где? – перебивая друг друга, всполошились обе. – Что ведомо тебе?

– Толковали они про север байкальский. Да они ещё здесь к Семёну Ремезову, служивому государеву, пристали. С ним и ушли. Сыскать его не трудно. Человек в краях здешних известен. Ясак в государеву казну собирает...

Марья побежала к Феодосию.

– Ты зря не суетись. Пиши письмо сыну Николаю на имя Ремезова. Оставим его в Иркутской епархии. Ремезов её не минует. Ему там с монастырскими приписными каждое лето разбираться надобно. Вот и дойдёт весть до сына. А уж нас на Селенге в новом монастыре искать епархии не надобно. Сами всё знают. А сейчас вели дочери собираться, на Селенгу едем.

Скоро отправились в путь на санях. На второй день пути были на месте. Присланные ранее епархией монахи-строители уже сделали пристрой к бывшему здесь зимовью, несколько келий. Средства на строительство этой новой обители пожертвовал «купчина Пекинского каравану» Григорий Афанасьевич Осколков. Осваивать средства начали, разумеется, в тёплое время. Прошло несколько месяцев со времени прибытия сюда наших путников. Уже была построена часовенка и начато сооружение деревянной церкви. Наступила весна, а с ней и пробуждение к новой жизни. Однажды к этой новой обители весенним солнечным днём устремились по волнам священного моря байкальского несколько судов с товарами, необходимыми для монастыря. А когда прибывшие сошли на берег, то случилось чудо, которое непременно должно уже было произойти: с гостями на берег ступили Николай, Ахмед и... Фёдор.

Марьюшка узнала Фёдора издали и с криком бросилась ему навстречу. Волнение её было столь велико, что она едва пережила его. И, уже освобо-

дившись из крепких объятий мужа (уступая место дочери), она, как шальная, утверждала перед всеми:

– Есть Бог на свете! Есть Господь Бог!

Когда на следующий день вспыхнувшая огненная радость встречи начала гореть ровным пламенем, вся семья, сидя снаружи у костра, на котором в большом котле готовили для всех обед, обсуждала будущее.

– Может, здесь останемся, Марьюшка? Полюбил я вельми края здешние, красоту величавую. Для души просторную. Как ты разумеешь? – спросил Фёдор.

– Да как ты велишь, свет мой, Феденька. Теперь не расстанусь с тобой ни на один день! Только и то поразмыслить надо, как всё там, на Волге, дома-то бросить.

– А что нам с тобой, Марьюшка, надобно, много ли? Можно здесь при монастыре жить, работы всем хватит. Можно и в улусе подале, на байкальском берегу хлебопашеством заниматься. Дом у меня там имеется. Дети наши при нас. – Он с любовью посмотрел на Настеньку, которая о чём-то тихо беседовала с Ахмедом. – И Юрок, молвишь, пристроен.

– Да ему Лука... – выпалила торопливо Марья, взглянула на мужа и запнулась.

– Ну, что Лука Евсеич для сына нашего Юрка сделал? – молвил Фёдор, улыбнувшись одними глазами.

– Да ты ведь ещё не знаешь, что умер наш боярин, а часть наследства своего Юрку завещал. Юрок не беден теперь. Его Регина в страну заморскую повезла учиться.

– Да, жаль боярина, жаль... А что мы с тобой после Силантия имеем, пусть этим детям пойдёт! – Фёдор указал на Настю и Николая.

– Всё моё дарю Настеньке, сестрице моей, – вставил своё слово Николай, – а я и сам пробьюсь. Пути-дороги мои теперь ясны мне. К Ремезову вернусь, края дальние для пользы Отечества описывать. Ты, отец, всё наставлял меня: «Учись прилежно, как Юрок». Тогда невдомёк мне сие было. А теперь, как другой мир открылся взору моему, учиться хочу, чтоб в разных потом странах заморских побывать. Мне и бабушка Богомила сколь дивно о них рассказывала.

– Так, сынок, правильно разумеешь. Тебе моё на то родительское благословение будет. А что мать свою родную не привёл мне Бог увидеть, а теперь уже и поздно... Всё рассказала мне Марьюшка вчера, как встретили её, обласкали и в вечность вскоре проводили...

– Тятенька, вот портрет бабуни Богомилы, Юрок тебе срисовал, – вставила Настенька, протягивая его отцу.

Фёдор схватил парсуну, отошёл в угол. Надолго замолчал, разглядывая.

– Когда-нибудь приедем в края наши, на Волгу – родным могилкам поклониться, – молвил наконец Фёдор, вытирая глаза.

– А я тогда и останусь там, в родных краях, нас всем, – робко проговорила Настенька.

– Да и я хотел бы вернуться в края свои, – быстро проговорил Ахмед.

– Ну, вот и ладно. Да будет так. А пока все вместе тут порадуемся, – вставила своё слово Марьюшка.

Через несколько дней к ним заглянул Семен Ремезов.

На следующее утро с ним все провожали и Николая. Ахмеда попросили помочь на строительстве монастырском. Он согласился.

Попрощавшись со всеми, Николай подошёл к старцу Феодосию.

– Благословите в путь мой.

Феодосий поднял руку с крестом и молвил словами Евангелия: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Эпилог

Ранней весной 1680 года, далеко от мест сибирских – в келье Крыпецкого монастыря, что близ Пскова, сидел старый монах и при «свете лампы и свечи воздыхал и тихо шептал слова», возлагаемые гусиным пером на бумагу:

«Лю-без-ный друже, Богдан Матвеевич!

Пишу тебе сие посланьице, скорбя сердцем об участи своея! Вот и все житие мое мирское, выражаясь слогом монастырским, истекло. И я, опальный боярин, а ноне де никому уж не нужный старец Антоний пишу с единым желанием услышать от тебя, боярин Хитрово, человека образованного и до сих пор успешного делателя на службе государевой, ответ на мой вопрос.

Неужто служение мое было напрасным и все мои труды воинские, посольские и другие по устройству внутри государства Российского теперь забыты?!

И то ведомо мне, сколь много потрудился и ты, Богдан, на пользу Отечеству. Наши годы преклонны. Скоро предстоит путь в мир иной. А оглянись кругом – не вижу на Руси лучших перемен. Сколь много, зело много палачей, разбойников, душегубов, грешников, лгунов, завистников, интриганов, корыстолюбцев, блудниц и пьяниц! И через думы о сем впадаю я в уныние глубокое. Неужто вся наша жизнь, все старания наши в Думе при царях (мои – при Алексее Михайловиче, Царствие ему Небесное!) впустую были? Ты, боярин, ведаешь, что сильных мира сего я не боялся николи и не боюсь по день сей и умираю в правде, но скорбно на душе моей...»

И ещё долго в подобном духе продолжал писать бывший сильный человек при дворе царском, Ордин-Нащокин, а ныне – Антоний, не совсем добровольно ставший монахом.

У него ещё хватило сил отправить письмо в Москву, в Оружейную палату, боярину и оружейнику Хитрово; крепиться несколько недель в ожидании важного для осмысливания жизни своей ответа.

Боярин Хитрово полученному письму был рад. И хотя находился в великой горести и болезни по причине смерти своей младшей дочери, несколько раз порывался изложить ответ на бумаге с «пристрастием великим» Ордину-Нащокину. Письмо боярина взволновало Хитрово и прежде чем урывками (по причине нездоровья) переносилось на бумагу, оно скоро почти всё написало в уме и раз-

мышлениях о жизни своей в государстве.

А на бумаге Богдан Матвеевич сразу же отверг волнения Нащокина, что тот обращается к «высокому боярину» «без церемоний, просто, и не по чину уже».

«Любезный брате, Афанасий Лаврентьевич, – писал в свою очередь Хитрово к бывшему «товарищу по службе царской», – напрасно волноваться изволишь «за дерзость свою». Мы сейчас, друже, как мне ведомо, оба находимся на кратком уже пути, чтоб предстать перед Господом Богом. И на этом последнем пути все равны меж собой грешные людишки: и высокие чины и простолюдины. Ты, Афанасий Лаврентьевич как брат теперь мне. Всегда внутренне клонил аз главу свою пред тобою за честное служение твое. И далече теперь от дел первопрестольной и Никон в своем северном монастыре, в большой ослабе и затворе он там. И, мыслю, что желание царя Федора вернуть его из ссылки (есть молва о том) напрасно будет, не доедет старец сей. И враг его вечный – Аввакум, за хулу царского дома в своих посланиях тайных из пустозерского заключения, по слухам, скоро казнен будет...»

И что всем нам, на судьбу Руси в свое время влиявших делать теперь? Честь?! То только на небесах Господь (кто из нас праведен?) решит, а на земле потомки – историки еще целые века, полагаю, судить-рядить о нас будут и целые народы последствия свершений наших в беспокойное время, что выпало нам на долю, устранять или с благодарностью преумножать вознамерятся. А что касается нашей с тобой пользы Отечеству принесенной, то мыслю, не зря мы...»

Тут письмо обрывается. Оно останется недописанным, так как Богдан Матвеевич Хитрово умер в марте 1680 года, пережив всего на несколько дней свою младшую дочь. Они и похоронены вместе в некрополе Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря, в который он неоднократно делал многочисленные вклады, среди могил князей и представителей царских фамилий. На могильной плите до сих пор хорошо сохранилась надпись: «1680 года марта в 27 день на память матери нашей Матроны Солунския преставился боярин, оружейничий и дворецкий Богдан, завомый Иов, Матвеевич Хитрово, в третьем часу дня... а тут же погребена дщерь его младенец Ирина».

Не дождался ответа на своё письмо монах Антоний. Не спавший всю ночь, не сомкнувший глаз от раздумий, услышал под утро крик петуха за окном кельи. Вздрогнул Антоний, и как пелена густая с души спала:

– Что я, Господи, роптать удумал на судьбу свою? Слава Тебе за все милости Твои ко мне!

И в душе монаха зазвучал песнопением стих:

«Теплится лампадка, свет свечи весёлый,
Старый инок шепчет, голову клоня:

«Милостивый Боже, я познал глаголы:

Симоне-Ионе, любишь ли меня?»

– Люблю, Господи! – прошептал Антоний.